

# Маленький лорд Фаунтлерой

рассказ

— Эрик, что за имя такое «Эрик»? — спрашивает неизвестная медсестра. — Не с любопытством спрашивает — с осуждением.

Он заходит в сестринскую, она не смущена, смотрит прямо, недоброжелательно. Такое имя, не извиняться же. Пусть. Привыкнут, одобрят — и имя, и всё.

Здесь он лечит больных по субботам: в реанимации и так, кого пришлют. Эрик у них единственный кардиолог.

Не город, но и, конечно же, не деревня, что-то промежуточное, средний род — предместье, вот правильное слово. Обитателям дач по ту сторону железной дороги оно является в снах, у всех почти одинаковых, местом для несчастий, бесформенным кошмаром. Даже по хозяйственным делам там не стоит бывать, да и переезд испокон века заслоняют бетонные тумбы, так что — только пешком или на велосипеде. «Ослика заведи», — советовали остроумно.

Итак, если двигаться из Москвы, то по левую руку от железной дороги располагаются дачи, а по правую — хаос: многоквартирные дома, промышленность, серые бетонные учреждения. Промышленность в последние годы захирела, и, как говорят, к лучшему, если иметь в виду качество воздуха и воды, люди же в домах продолжают жить и, хоть и вяло, — размножаться. А в целом поменьше бы думать про то, что творится за бетонными тумбами, — оно, глядишь, и сниться перестанет.

Вот дачи хорошие тут, классические: участки по полгектара, сосны, песок, не грязно никогда, много неба, один недостаток — отсутствие далей. Поезда не мешают, к поездам привыкли, а вот далей и большой воды, хотя бы реки, не хватает. Участки большие, очень большие, с почти одинаковыми домами — на две семьи, каждой по этажу. Теперь это кажется анахронизмом — где ривасу? — но дачи строили в конце двадцатых, для бывших политкаторжан, тогда и мечтать не приходилось о большей отъединенности, да и слова такого не было — ривасу.

Бывших политкаторжан нашлось в свое время на восемьдесят с чем-то участков. Дачи с той поры, конечно, по многу раз сменили хозяев. Однажды на дне антресоли он обнаружил справку: в тысяча восемьсот восемьдесят первом году гражданка такая-то — дальняя, непрямая родственница — участвовала в царевубийстве. Справка выдана по месту лечения, печати, подписи, дата — тысяча девятьсот двадцать шестой. Не стал никому показывать справку, пусть полежит.

Вот так — дача, не хуже, чем у многих, даже лучше, и ребенку полезно: хвоя. Как же он очутился на той стороне? Улыбался устало: зачем спрашиваете, я же,

мол, врач. Соседку отвезли с сердцебиением, мерцательная аритмия, знаете, что это? Ничего, стукнули током тетеньку, вылечили. А совсем близким людям объясняет: внутренняя потребность.

Странное поведение, что и говорить. Боря, институтский товарищ, нейрохирург, улыбается широко, зубы у него изумительные:

— В любви к народу упражняешься, Швейцер? Или семья надоела? — Было всегда в Эрике что-то неправильное. Лучше б докторскую дописал.

Да нет же, он только по субботам, при чем тут семья? Один на один с больными, как в юности. Боря все пристаёт, ему можно: набрал для него лекарств у себя в отделении. Боря лысоватый, плотный, мясной: крепкие руки, толстые пальцы, не хватает лишь волосатой груди из разреза пижамы. Они с работают в одной многопрофильной клинике, разные кафедры, разные корпуса, у Бори да-ча по той же ветке неподалеку, и карьеры складываются похожим образом.

— В кого ты получился такой... — ищет слово, — аристократ? Был ведь, как все, пионером. Другие, что ли, тебе книжки давали, чем нам? — Боря им недо-волен: тоже мне, доктор Гааз, «спешите делать добро».

Какую книжку Эрик сам прочел — первую? Должен помнить.

— «Маленький лорд Фаунтлерой».

Про что эта книжка, и кто ее автор, Эрик не знает. Надпись на ней была, ма-миным почерком, тогда еще твердым, красивым, и даже не скажешь, что жен-ским: «Чтоб жизнь тебе не мешала становиться добрее и лучше», и день его рождения, шесть лет. Учили: быть хорошим. Зачем быть хорошим, не объяс-няли, и так ясно. А надпись эту и название он помнит: «Маленький лорд Фа-унтлерой».

Полставки ему предложили, с платных услуг, хозрасчетные. Он и не думал про деньги. Почему нет? Он согласен. Сколько возьмет себе? Как-никак с соб-ственным оборудованием... Оборудование не вполне собственное, из клиники, все маленькое, переносное, в понедельник он его возвращает.

— Половину.

Женщина-замглавврача улыбается, хотя тут не принято. Она ему не удиви-лась: мало ли зачем москвичу их больница? Наука, то да се, знаем. Деньги нико-гда не лишние, но пятьдесят процентов — заведомо многовато.

— Женщина к нам приходит, знаете, умерших одевать, подкрашивать, все такое, берет только тридцать.

Надо же, вот кто его конкурент! Теперь, похоже, он обеспечен историями, это вам не Москва. И там, понятное дело, разнообразие: вот у них тысяча двести со-трудников на четыреста коек, так что все, кто лечатся, — или родственники врачей, или активные люди, приезжие, или — за деньги. Истории случаются, конечно, но келейно, камерно, до Эрика доходят редко.

А этой самой женщине он ничего не скажет, все останется между нами, entre nous, понимаете? Впрочем, — широкий жест, не зря, видно, Боря дразнится аристократом, — он готов и бесплатно, и... как угодно.

— Бесплатно? — Вот это зря. Так его надолго не хватит. Она поводит головой влево, вправо. — Каждый труд должен быть вознагражден.

Правда, зря он, само как-то вышло. Не хотел никого обидеть. Да и парал-лельные деньги, пусть маленькие, пригодятся.

— В рабочем порядке решим, — произносит новая его начальница.

Паспорт, диплом, копия трудовой, ага, ординатура, кандидатская. Все, устроился.

Он идет через двор, осматривается: несколько корпусов, охрана, как у больших. Надо же, уже устал. А потому что жарко, ужасно жарко, и ведь еще только май. На даче не так. Ну да, тут асфальт.

Медперсонал: все серые, вежливые, движутся тихо, силы берегут.

— Инфаркт. Посмотрите, если желаете.

Что значит «желаете»? Стесняются попросить, думает он, и смотрит. Нет тут никакого инфаркта, все отменить — и домой. Чем не веселье? Все здесь им внове, и кое-что получается, а вот — не весело. И медсестру ему дали — кусок глины, младше него, но кажется старше. Все тут знает, смотрит внимательно, без улыбки, все делает. Зубы у людей плохие, оттого и не улыбаются. Как на картинах старых мастеров, — заключает Эрик, старается всех любить.

Жаркий двор, он сюда вышел побыть один, выглядывает из-за деревьев: приходят и уходят люди, с ошибочными диагнозами, случайными назначениями. Почему не ставить диагнозы правильные? — ставят же они неправильные. Ничего, скоро он все улучшит. Устраивает семинар, но говорит на нем только сам, сотрудники явились, терпят, молчат.

Больных прибывает, и иногда он выбирается по ту сторону тумб и в пятницу вечером, и, когда позовут, в воскресенье. И стало прохладнее, начало июня выдалось холоднее мая.

— Какие-то они беспородные, — жалуется Эрик на коллег и на пациентов.

Чему удивляться? «Участвовала в царевбийстве» — вспоминает он ту бумажку. И все-таки прежде, во времена своей юности встречал он еще на лицах людей породу, не наследственную — приобретенную, книжную, а тут — о какой книжности говорить, когда отсутствует элементарная сообразительность:

— Это трудно, но не невозможно, — объясняет он медсестре. Речь про то, как перевести тяжелого больного в Москву. Сестра растеряна: так возможно все-таки или нет?

Впрочем, надо присмотреться: всюду жизнь, всюду люди должны быть симпатичные и не очень, и не заключена ли нравственная ошибка в самом этом слове «они»?

В середине июня замглавврача просит его явиться в рабочий день. — Заболел кто-то ценный? — Нет, вызывают в «органы», для беседы. — Зачем? — Разве можно об этом по телефону? — Начальница его спокойна, и Эрику пугаться нечего.

Один из массивных серых домов, заметных из электрички: здесь эти самые «органы» помещаются. Возле проходной его ожидает старший лейтенант, ему лет тридцать, а может быть, и не тридцать, Эрик уже понял, что возраст он определять не умеет. Вежливый, за руку здоровается, лицо некрасивое, в оспинах. Лейтенанта он рассмотрит потом, а пока что они направляются в бюро пропусков, все движется законным порядком.

Страшновато чуть-чуть, да и зачем эти подробности, когда — для беседы? Можно поговорить, например, и в больнице. Нет, у нас так не принято.

Наконец они проходят в кабинет, который лейтенант делит еще с одним молодым человеком. Тот изготавливает из картона скоросшиватели, такие всюду

продаются и стоят недорого, и занимается ими все время, пока лейтенант допрашивает Эрика. В кабинете бедно, даже не бедно, а прямо-таки разруха, нищета, больница и то современнее. На стене карта мира, на подоконнике — газета с окурками, кипятильник, израсходованные пакетики из-под чая.

— Курите? — Лейтенант протягивает пачку.

— Нет, — зачем-то врет Эрик. — Могу я поинтересоваться...

Потом, ему все объяснят, а пока пусть послушает: против себя и ближайших родственников он может не свидетельствовать. Понятно? Тогда распишитесь. Еще минутку внимания: о каких именно родственниках идет речь. Муж — жена, сын — дочь... Список заканчивается неожиданно: дед, бабка. Эрик смеется, немножко заискивающе:

— Прямо написано — «бабка»?

— Да, таков юридический язык, — его собеседник тоже улыбается, ласково.

Всё? Нет, теперь он сам прочтет статью про то, какая ответственность предусмотрена за ложные показания. И за отказ от дачи показаний. Значит, он вызван свидетелем?

— Ладно, какой там... — лейтенант машет рукой: поступил сигнал, и они его обрабатывают.

Эрик рассматривает книгу: странно издан уголовный кодекс, с карикатурами. А лейтенанту нравится: расслабляет. Наконец он показывает бумагу, ту самую, которая — сигнал. Имя автора ничего Эрику не говорит, и он его сразу забывает. Чужие люди явились в наш дом — вот общее настроение бумаги, про него, про Эрика, писано. А вывод такой: не позволим! Ничего не позволим: опытов над людьми, трансплантации наших граждан на органы. Поэтому лейтенант и пригласил его: имеет он отношение к трансплантации? Нет? Так и запишем. Лейтенант вздыхает и принимается печатать протокол: медленно-медленно, все старенькое, допотопное.

А что он вообще думает о трансплантации? — Не решение проблемы, конечно, но в отдельных случаях... Некоторым из его больных пересадка сердца сильно удлинила бы жизнь. Да только нет никакой у нас трансплантации. А органов хватает — вон сколько аварий и катастроф. Но тут знаете, какая организация нужна? Заморозить, доставить, быстро врачей собрать. У нас и простых вещей нет, а уж трансплантации...

— Эх, лента стерлась вся, — опять вздыхает лейтенант.

Давно Эрик не видел матричных принтеров. Он решает теперь покурить, смотрит в окно: надо же, скоро вечер. Сосед лейтенанта уходит, где-то там, в районе дач, спускается солнце. Наконец и лейтенант доделывает работу и принимается за рассказ об успехах их службы, об огромных технических достижениях, о том, какие они молодцы. Единственная некоррупцированная организация. Вот ведь, кто б мог подумать.

Вроде, можно уходить, сейчас лейтенант подпишет пропуск. И вдруг он просит ответить еще на один медицинский вопрос:

— Скажите, грыжа диафрагмы — это очень опасно? — как он разволновался, даже голос стал выше.

— Нет, что вы! — восклицает Эрик, его отпустило. — Ерунда. Не ложитесь сразу после еды — вот и все.

Оказывается — не всегда ерунда. У лейтенанта ребенок умер от этого, двухлетняя девочка. Операцию сделали — и умерла.

— Где? — теряется Эрик, трудно все время вот так перестраиваться. — Не у нас?

Нет, девочка умерла в Москве, в ведомственной больнице. У нас таких операций, сказали, не делают. Так и есть... А недавно у лейтенанта еще одна дочь родилась, какова вероятность, что — с грыжей?

За последние несколько минут лейтенант очень изменился. Или это свет так падает? А про грыжу он почитает, поспрашивает.

Вечером в субботу двадцать первого июня на дачу к нему заезжает Боря: футбол посмотреть, после грозы телевизор у него не работает. Эрик равнодушен к футболу.

— Великая игра, — объясняет Боря. — Кульминация всего мужского: удар — гол. Как секс. — Жене и ребенку лучше не слушать. — Только футбол еще лучше, с бабой там — мало ли, облажаешься, а тут полтора часа чистого кайфа. Понятно? Да понятно, понятно все.

Наши выиграла, и Боря собирается уезжать — очень довольный: не хвост собачий, в четверку сильнейших вышли. Крякает удовлетворенно: хороший тренер у нас, голландец! Он, Боря, всегда говорил: надо брать иностранного специалиста. Жалко, Эрик так ничего и не понял в футболе.

— Будь проще, — советует Боря, — и к тебе потянутся люди.

Хочет ли Эрик, чтобы люди тянулись к нему? Не особенно.

— Аристократ, аристократ, так и есть, дайте ручку поцелую.

— Перестань, — просит Эрик, — не паясничай.

— Слушай, а они тебя любят — там? — Боря показывает в сторону станции.

— Смотря кто, Боря, нет никаких «они». — Рассказывает немножко про лейтенанта и его дочерей, эх, так он и не почитал про диафрагмальную грыжу. — А любят ли? — Он задумывается. — Если честно: не любят, нет.

— Ну и чего ты цацкаешься с ними? Совесть замучила? Знаменитое чувство вины? — Тут, может быть, Боря и прав: чувство вины, перед всеми — сначала родители, теперь жена, ребенок — присуще Эрику. А уж перед некоторыми больными как виноват! — навсегда.

— А тебя, Боря, — хочется ему спросить, — совесть ни за что не грызет? — Нет, не грызет, конечно: он ей не по зубам.

— Ладно, — Боря хлопает товарища по спине, — все будет кока-кола, живи футболом! — и уезжает, а из-за станции слышится рев: «О-ле, о-ле, о-ле, вперед, впе-е-ред...» Там грохот, рев, салюты, сигнализации у машин надрываются, у нас на дачах пока спокойно. «Оле, оле» — да, развивается язык. Пьяная, плавающая, наглая интонация.

Днем в воскресенье, двадцать второго июня, передают: «Скорбь, связанная с годовщиной начала войны, разбавляется нашей общей радостью о вчерашней победе». И тут же звонок: всё понимаем, но нельзя ли срочно — в больницу?

На «скорой» оживленно. Здоровенный дядька лет тридцати, еще фельдшер, милиционер, еще человек какой-то со стертой внешностью — в пиджаке, а на кушетке — парень, крепкий такой, качок. Фамилия его — Попров, семнадцать лет. Плохо именно ему, сердце болит. Стоило ли ехать? Эрик смотрит парня, слушает, кардиограмма, то-другое, так и есть — здоровехонек. Нервничает

только, дрожит он очень, оттого и помехи на кардиограмме, а так — ничего. Надо писать заключение.

— Фамилия как? Попов?

— Попров, — ревет здоровенный дядька. — Попров Алексей! — Он не знает, кто такой Попров? — Совсем, что ли, отмороженный? А-а-а, нездешний... С дуба рухнул, нездешний?

Милиционер выталкивает дядьку за дверь.

— Кто он ему? — не понимает Эрик. Для отца, вроде, молод. Ну так, дядя. Помощник отца вообще-то, по общим вопросам, ничей он не дядя. — И что натворил задержанный? — равнодушно спрашивает Эрик, как свой, иначе ничего не узнаешь. — Да так, таджика отмудохал бейсбольной битой. Попраздновал. — Бита-то зачем? Откуда вообще тут биты? У вас что тут — бейсбольный клуб?

Ржут все, даже, кажется, Алексей.

— Один? — спрашивает Эрик фельдшера, пока Попова поднимают, дают одеться.

— Кто с тобой еще был? — орет на Попова милиционер.

Разве так на ходу допрашивают?

— Касаемо этого, гражданин начальник...

Ишь ты, набрался слов.

Попров оскаливает зубы. Он своих не продает. Вот так, принципы. Зубы у него крепкие, белые, еще мощнее, чем у Бори. «Врежут раз — и расколется», — думает Эрик вдруг. Ладно, он только врач, и чем отвратительнее подопечный, тем сильнее надо стараться.

— Вот таблеточки — успокойся, — принес ему пачку, из личных запасов.

У Эрика из-за спины появляется чья-то рука, неприметный человек забирает таблетки.

— А вы ему — кто? — спрашивает Эрик его тоже.

— А я ему, — отвечает неприметный, — начальник изолятора.

По-простому — тюрьмы. О, это запомнится.

— Послушайте, уважаемый!.. — обращается к нему начальник тюрьмы, что-то он должен ему разъяснить.

— Доктор, — подсказывает Эрик, — говорите: «доктор».

— Наша система, доктор, чтоб вы не подумали, работает медленно, но...

Но — что?

В коридоре — его медсестра, откуда она тут в воскресенье? Расстроена: жалко Алешу ужасно, знала еще ребенком. — И какой он был ребенок? — прямо удивил ее Эрик своим вопросом: дети все хорошие. Жизнь себе Алеша испортил, жалко. В секцию самбо ходил, собирался стать стоматологом. — А этого, таджика, не жалко? — Да, жалко, конечно, тоже человек. Где он, кстати? — Тут он, в реанимации, на искусственном дыхании. Желаете посмотреть?

Чего уж там, давайте. Таджик, худой, черненький, без сознания. Сколько ему? Двадцать два. Впечатление, что гораздо меньше, совсем мальчик. Татуировок нет, кожа смуглая, кровоподтеки. Глаза закрыты марлей. Снял, посмотрел зрачки, глаза у таджика серые. Муха по плечу ползает, пошла вон! И руки посмотрел: ни ушибов, ни ссадин — ни с кем он не дрался. — Ночью к нам поступил: кома, переломы лицевого черепа, ребер. Не по вашей части. — Из мочевого катетера капает мимо банки, поправьте. Грустно все это выглядит. Монитор, ап-

парат искусственной вентиляции — все кажется живее мальчика. Сердце еще послушал — тут все нормально, пока. А мозги живые? Кто же их знает...

А где старший Попров? В Европе он, наших поддерживает, двадцать седьмого — полуфинал. Побеспокоить бы можно было вашего Попова. Нет, Попова, по-видимому, лучше не беспокоить.

Он возвращается на дачу, ест, станет прохладнее — и в Москву. Но после еды засыпает, а проснувшись, думает: Попров-младший, Алеша, умница-стоматолог, купил, значит, битую... Вот тебе и самооборона без оружия. «Брата» смотрел неоднократно, любит. У таджикского мальчика на шее штука какая-то металлическая — не крестик, не амулет: имя, может быть? — мама надела, перед тем как поехал сюда. Зачем ехал? А все едут. Люди поступают как все. «Не убивай, брат», — просит мальчик. А Алеша Попров улыбается во весь рот и — по накатанному: «Не брат ты мне, гнида черножопая!» И битой — куда придется.

Тяжесть, Господи, какая тяжесть... Звонит, сонный, Боре:

— Физкультпривет, — говорит. И молчит. — Ты уже с дачи уехал? — И опять молчит. По шуму в трубке ясно: уехал.

— Чего надо? Чего молчишь?

— Собираюсь с духом, попросить, — эх, лишь бы вышло! И просит.

Нет, Боря уже уехал. Ох, fuck.

— ...Сказал бедняк, — отзывается Боря.

Удачно вышло, и вдруг:

— О-кей, разворачиваюсь. — Хороший он, Боря.

Через полтора или два часа они стоят возле больницы, Эрик курит, они говорят. Плохо дело, еще хуже, чем предполагалось. И все-таки надо в Москву везти, томографию головы сделать, какой-то шанс есть. Хорошо, Боря его заберет, с ребятами договоримся. Выписку давай, паспорт, консультацию мою запиши. Родных нет? Что он, совсем бесхозный?

В пустой ординаторской они пьют кофе, болтают на национальную тему.

— Таджики арийцы. Что бы это ни означало.

— Да? — Боря не знал, думал, хачики.

— Хач, кстати, — Эрик интересовался, — по-армянски — крест.

— Крестики. Тоже неплохо. Крестики-нолики, — Боря шутит из последних сил.

Перевозка приходит под утро.

Хороший он, все-таки, Боря.

— Ты тоже ничего. Маленький лорд Фаунтлерой. — Оба едва стоят на ногах от усталости. — Теперь ты их благодетель. Такого больного перевести, а! Ничего, довезем. Кто не рискует, не пьет шампанского. Хочешь шампанского?

Эрик качает головой:

— Что-нибудь придумают нелестное, вот увидишь, — но и сам не очень верит в то, что говорит. Такое даже *эти* оценят.

На неделе он отвлекается от истории с таджиком, да и не теревить же Борю каждый день. В пятницу утром, проезжая мимо спортивного, вспоминает, оставивается. — Биты? Да, сколько угодно. — А... варежки такие и шары для бейсбола? — Нет, не поступали. Мы не в Чикаго, моя дорогая, — вдогонку.

Собравшись с силами, он звонит-таки. Боря расслаблен: снова жара, в футбол

наши слили. Германия с Испанией в финале, две страны фашистского альянса. Работы, как всегда летом, мало.

— А этого нашего, — Эрик называет таджика, — куда дели?

— Куда что, — отвечает Боря самым естественным тоном. — Сердце в Крылатское уехало, легкие — на «Спортивную».

Разобрали таджика на органы, короче говоря.

— ...С легкими лажа вышла: хотели оба взять, а взяли — одно.

Эрик снова молчит в телефон.

— Почки еще есть, — наконец произносит он тупо.

— А почки как-то никому не приглянулись, — хмыкает Боря.

Зачем он смеется? Этого делать не следует.

— Доктор, вам показалось, — отвечает Боря. — Смерть мозга, умер он. Вот так. Мы его и смотрели-то в сущности мертвым.

Знал Боря, что так получится, или нет, когда увозил? Он его все-таки спросит. По крайней мере, имел ли в виду — возможность?

— Когда разворачивался на шоссе — не имел, а потом, когда забирали, то да, подумал. Я, видишь ли, нейрохирург. Никто тебе ни в чем не виноват. И потом: господин кардиолог, вы что-то имеете против трансплантологии?

Эрик вспоминает про «если зерно не умрет...», про «жизнь за други своя...». Нет, там другое, там добровольно...

— А у нас — презумпция согласия, слышал? «Нравится — не нравится, спи, моя красавица». Иначе вообще бы органов не было. Пьяный завтра тебя или меня на «КАМАЗе» задавит — и распотрошат за милую душу. Хотя сам знаешь, все у нас через жопу. Один раз четко сработали — ты и то... Ну помер бы твой таджик, как другие, — лучше было бы, да?

Может быть, и лучше, Эрик не знает. Смерть мозга, Боря сделал, что мог, это ясно, но зачем...

— Зачем — что? — Боря уже очевидно устал.

— Эти словечки... — Да-да, в словечках все дело.

И что Эрик объяснит теперь *тем*, за бетонными тумбами?

— А ты скажи им, что таджик их, возможно, две человеческих жизни спас. Шире надо смотреть. У нас ведь — никакой личной кóрысти.

Корысти, Боря, корысти. Кто говорит про корысть? Правда, не ссориться же им в самом деле. Жизнь одним таджиком не заканчивается, в медицине всегда так.

— Неврачебный разговор у нас вышел какой-то, дружище, — говорит Боря примирительно. — Никто не знал, что так будет. — Да, печальная сторона профессии. — Ну все, брат, давай.

Конец связи. Достаточно.

Вечером безо всякой аппаратуры он отправляется на дачу, где ждут его жена с ребенком, необходимость вырубить разросшиеся клены, поменять насос, оформить собственность на землю. Всё как у всех.

За бетонные тумбы он больше не ездил.

август 2009 г.